

The background of the cover is a photograph of a beach with waves crashing on the shore. The sky is a pale, hazy blue, and several seagulls are captured in flight, their dark silhouettes contrasting against the light sky. The overall mood is serene and evocative.

LOVE
BOOK

Аля Кудряшева

ИНОГДА КОРАБЛИ

СТИХИ

Аля Кудряшева Иногда корабли

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=21173291

Иногда корабли. / Кудряшева, А.: Лайвбук; Москва; 2014

ISBN 978-5-9908083-1-7

Аннотация

Аля Кудряшева (Хайтлина) – поэт из Санкт-Петербурга, двукратный победитель конкурса «ПОЭТому» и лауреат премии «Новые имена». Известна в сети под ником «IZUBR» («Изюбрь»).

Ты читаешь и знаешь – это оно. Эта радость – твоя, и чужой сон – твой сон, и чужая боль – твоя боль, и жизнь, уложенная в тексты, – вот здесь.

Содержание

Последний звонок	4
Про языки	8
Шарлотта Миллер	14
Три поколения	19
Посвящение	24
Про ангелов	26
Всё об одном	31
Детское	35
Зарисовка	38
Read more	40
Пристань	43
Брызги	46
Школьный курс	49
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Аля Кудряшева

Иногда корабли

Последний звонок

Тем, кто ещё пока не может это прочитать

Посмотри на часы, видишь, стрелки горят в темноте
И крадутся легко, осторожно, по кругу, по следу:
Часовая шарахнется вправо, минутная слева
Нагоняет её, то есть тень помещается в тень.

«...»

Много ветра и много горячего дерева,
Первый час из последнего летнего дня.
Если стоит сегодня на что-то надеяться,
То на то, что мне будет не жалко меня.
Луч фонарика вязнет в потёках смородины,
Повисает на ветках, в паучьей сети.
Я не знаю пока что, что будет не пройдено,
Но я очень боюсь никогда не пройти.

Что-то ходит вокруг, невозможно печальное,
Луч фонарика ярко ложится на бинт.

Я люблю тебя медленно и с опечатками,
Потому что я плохо умею любить.
Если вспомнить – река покрывалась мурашками,
А потом уходила в лесок за спиной.
Если что-то случится – пусть будет нестрашное,
Я боюсь, когда страшное рядом со мной.

Если вспомнить – сентябрь. Невозможный и ласковый.
Взял – и бросил, как в прорубь, – не бойся, живи.
Вот на мне повисает пучок первоклассников,
Им не страшно со мной говорить о любви.
Я учусь у них счастьем, учусь у них честности,
Так нечестно меняя на буквы любовь.
А они демонстрируют юные челюсти
В тёмных дырках от старых ненужных зубов.

Кем ты станешь потом? Я хочу воспитателем.
Я хочу балериной. Хочу моряком.
Вы не станете, вы уже стали – спасатели —
Непоследним пайком, предпоследним звонком.
Я хочу в туалет. Я хочу быть как бабушка.
Я хочу до звонка рисовать на доске.
Это что? Это лошадь? Да нет, это бабочка!
Точно, бабочка! Ты уже дружишь? А с кем?

И хватаешь как солнышко, как подношение,
Как единственный пропуск, как пряник и кнут,
Для неё – семилетней – лишь я утешение,
На ближайшие пять с половиной минут.

Вы не станете, вы уже стали – вятели.
Грязным пальцем и бусинками на груди.
Я тебя ненавижу.
Люблю тебя.
Я тебя.
Что писать?
Можно мне в туалет?
Ну, иди.

Мне не страшно представить всех ведьм, даже с мётлами.
Мне почти что не страшно стоять на краю.
Я читала безумное, злобное, мёртвое.
Я держала в руках безысходность свою.
Говорила с несмогшими, даже с не ставшими,
Не боюсь нелюбви, тошноты, темноты,
Только самое страшное – самое страшное —
По косой, меж линеек: «Хочу быть, как ты».

Не хоти, подрасти, передумай, куда же ты.
В тесной вазе лениво томятся цветы,
Это лето почти что до капельки дожито,
Капля лета убьёт... Это лошадь? Нет, ты!
Это просто цветы, это стало традицией.
Дома будет покой, тишина и кровать,
Это я убиваю тебя эрудицией,
Потому что я плохо могу убивать.

Много ветра и много горячего дерева.
«Жи» и «ши» напиши обязательно с «и».

Вот я стала учителем, что я наделала.
Вот тебе моё счастье, не бойся, носи,
Притворяйся, как я, что ты сила, что ты сейчас
переделаешь всё.
Что все выси – тебе.
Мы когда-нибудь встретимся – дней через тысячу.
И боюсь, что опять, как всегда, в сентябре.

Беспокойные чёлки, над бровью две родинки,
На коленках белёсо сияют бинты.
На последний урок мы приносим смородину,
В мягких ягодах вязнут щербатые рты.
Мне нельзя молоко.
У меня есть два братика.
Я хочу в туалет.
Я хочу моряком.
Без линейки, смотри, я рисую квадратики.
Можно я – через год – тоже буду звонком?

«...»

То есть тень помещается в тень. Что-то будет, да чёрт бы
с ним,
Будет долго и счастливо, как там бывает всегда.
Луч фонарика медленно, нежно ползёт за автобусом.
Это лошадь? Да нет, это бабочка, бабочка, да.

Про языки

Она всю ночь училась своим наукам, каким-то нанайцам,
а может быть, финно —
уграм. Или другим неведомым языкам. Раз в две недели
он входит к ней рано
утром, стараясь не разбудить ни единым звуком, стараясь
не отражаться среди
зеркал. Солнце забралось в ее золотую прядь. Первый
столичный поезд приходит
в пять.

А первая электричка приходит в шесть. Она сопит в две
дырочки, нос в подушку.

Он напевает, стоит под горячим душем. Хозяйский кот
испуганно дыбит шерсть.

Она все спит. Так просто спокойно быть с ней рядом, сны
ее рассмотреть цветные.

Он научился уже приносить цветы ей, но плохо пока
умеет их подарить.

А солнце светит во всю неземную прыть. На стенке тень
от листьев сквозит резная.

Она себя не любит – он это знает и тем еще смешнее ее
любить. И убеждать ее,

и боготворить, носить на руках по улице – всё без толку.

Она работает смайликом

в гуглтолке – по крайней мере, любит так говорить. Она

всегда говорит
и немножко врет, его называет то мужем, то вовсе братом,
то клятвы дает на сотни
веков вперед. Да ну ее, Боже мой, кто ее разберет. А кто
разберет – не соберет
обратно.

Он входит в комнату, небо бьет синевой. Находит ее часы
под каким-то стулом.

Усталость стекает по гладко выбритым скулам. Он знает,
что она уж давно
проснулась и просто смотрит цветные сны про него.
Сердитый кот когтями диван
дерёт, глядит на него глазами цвета металл. Она
спросонья щеки ладошкой трёт.

Он улыбается: «Кто тебя разберет...»

И прячет в карман тихонько пару деталек.

Сто дней, сто ночей,
Плачет город – он ничей,
знаешь, жизни несчастливых
сходятся до мелочей.

Сейчас два часа тридцать восемь минут. Сейчас я сажусь
за стол, беру карандаш
и пишу тебе то, чего от меня не ждут. А если ждут, ты
когда-нибудь передашь.

Море плясало и дождь над ним причитал. Я этого не
писала. Ты этого не читал.

Когда-нибудь он выходит ее встречать. Он надевает куртку, берет собаку, на лестнице недовольно пинает банку и вежливо отвечает, который час.

До остановки, в общем, недалеко, но он шагает медленно, отражаясь в широких мелких лужах, от листьев ржавых, в колючем небе, бледном, как молоко.

Он впитывает разрозненный звукоряд, прозрачный несезон, холодок по коже, он думает, что любимые все похожи на мелкий дождь, танцующий в фонарях.

Он думает, что они все похожи на неоновые змейки на мокрых крышах, на то, как осторожно на руку дышат, когда она несильно обожжена.

Она его обнимает. Слегка сипя, здоровается. Бросает собаке коржик. Он думает, что любимые все похожи и улыбается этому про себя.

Когда-нибудь, например через пару дней, она сидит в автобусе, как живая, опасная, как собака сторожевая, когда добыча распластана перед ней. Она сидит и внутри у нее все лает и смотрит глазами цвета, как жидкий йод. По радио какой-то мудак поет: «Ах девочка моя, ла-ла-ла-ла-лайла, ах девочка моя, ты такая злая, как будто он совсем тебе не дает».

Она подходит к выходу, словно зомби. И слезы в ней дрожат, будто зерна в зобе.

Она ревет, вдыхая прогорклый смог, двадцатилетний лоб, а точнее лбица, как будто весь мир старался к ней продолбиться, а этот придурок смог. И заяц жил, и лисица жила, и львица – а медведь пришел и разрушил весь теремок.

Она стоит и коса у нее по пояс. И щеки мокры от слез. А у любви есть тот, кто попал под поезд и тот, кто забрызган грязью из-под колес.

Когда-нибудь мы сидим с тобой вшестером – ты, я и четыре призрачных недолюбка и лунный свет, и моя голубая юбка, и дымный и негреющий костерок.

Когда-нибудь мы сидим с тобой у огня и ты говоришь мне: «Слушай, кто эти люди?» И я отвечаю: «Это все те, кто любят или любили неласковую меня».

И я говорю: «Вот этот отдал мне год, а этот два, а этот платил стихами, которые внутри меня полыхали и отражались строчками у него. Полсотни месяцев, сотни живых зарниц, бессонных и счастливых глазных прожилок – которые я тогда у них одолжила и вот сейчас должна всё прожить за них. Вот видишь, складка,

горькая, пожилая, вот слышишь – смех неистовый,
проливной – ты думал,
это было всегда со мной, а это я кого-то переживаю».
Быть может и сама того не желая – но вечно, как и водится
под луной.

Время – наверное пять с хвостом. Острым карандашом
этот текст написан о том,
что всё будет хорошо.
И острием самым подведена черта.
Я этого не писала.
Ты этого не читал.

Ей двадцать пять, у нее не жизнь, а несчастный случай.
Она все время спешит и все время не успевает.
А он говорит ей в трубку: «Маленькая, послушай»,
И она от этого «маленькая» застывает.

Не отвечает и паузу тянет, тянет,
Время как будто замерло на часах.
И сладко чешется в горле и под ногтями,
Ну там, где не почесать.

Ей двадцать пять, у нее не нрав, а пчелиный рой.
Сейчас все пройдет, сейчас она чай заварит.
Она сама боится себя порой,
А он ее маленькой называет.

Сосед нелепо замер с раскрытым ртом,

Размахивая руками.
Двухмерный, как будто бы он картон,
А может, бордюрный камень.

Ей двадцать пять, у нее не вид, а тяжелый щит,
У нее броня покрепче, чем стены в штольне.
Как посмотрит пристально – все вокруг затрещит.
А он не боится, что ли?

Он, наверное, что-то еще говорит, говорит,
Что он не придет, что прости, мол, что весь в цейтноте.

Она не слышит. У нее внутри что-то плавится и горит.
И страшно чешутся ногти.

Шарлотта Миллер

Шарлотта Миллер выходит из дома утром, но так темно, что в общем неважно, что там. Поскольку внутри Шарлотты Миллер и так так муторно – как будто бы ей под сердце вкрутили штопор. Шарлотта Миллер не моется и не молится, выходит из дома без шарфа и без ключа, идет к остановке, бормочет из Юнны Мориц, как снег срывается с крыш, всю ночь грохоча. И снег срывается, тычется в грудь, как маленький, в ботинки лезет, греется, тает, ёрзает. Шарлотте хочется стать не Шарлоттой – Марекком. А может, Йозефом. Лучше, конечно Йозефом. Я буду Йозефом, буду красивым Йозефом – твердит она, покупая билетик розовый, я буду носить пиджак непременно розовый и буду носить кольцо с голубыми стразами. На этом кольце будет инициалом ижица (она залезает в маршрутку, сидит, ерошится. Я буду трахать всё, что хоть как-то движется, и всё, что не движется, но со смазливой рожицей. Я буду жить по гостям и бухать по —

черному, владеть уютной берлогой и Хондой Цивиком. Я буду ученым-физиком —
ведь ученому положено быть сластолюбцем, неряхой, циником. Я буду ездить
на школы и ездить в отпуска, кормить на море чаек и кашалотов. Я буду считать
следов песчаные оттиски. И главное там – не встретить свою Шарлотту.

Нет, понимает Шарлотта, нет, я не жалею, но обмануть судьбу – так не хватит
денег всех. Шарлотта – это судьба, от нее, пожалуй что, и на морском берегу
никуда не денешься.

А если Марекком – проще нащупать истину? Тогда бы я обманула судьбу заранее,
была бы Марекком, парнем своим и искренним, без денег, без жилья и образования.

Работала бы медбротом, любила б Шумана, мечтала бы когда-нибудь стать
пилотом...

Нет, понимает, в кресле второго штурмана немедленно бы оказалась моя

Шарлотта.

Куда мне деться, рыдает она неделями, я от себя на край бы света сбежала бы.

Шарлотта себя ненавидит за поведение, сама она не выносит чужие жалобы.

Она бы себе сказала в ответ: «Рыдалище, чудовище, истерище, да пошло ты!»

Она бы себя послала в такие дали, что... и там бы не избавилась от Шарлотты.

Шарлотте сложно слезы и сопли сдерживать, внутри у нее не стихает, бурлит беда.

Такое бывает, если поешь несвежего или внезапно влюбишься не туда. Но если от первого может помочь лечение, таблетки, клизмы, пост и визит врачей, то от влюбленности сложно – ведь в общем чем её сильнее глушишь, тем она горячеей. Шарлотта ела последний раз, вроде, в пятницу, а нынче, пишут в календаре, среда. А значит, это не лечится, значит, тянется, такая зима, подруга, беда, беда.

А скоро Новый год – и вокруг так весело, снежинки, елки, утки в печах шкворчат.

Шарлотта ходила в гости во время сессии и там влюбилась в заезжего москвича.

Он не похож на тех, кто во сне её зовет, он умный, худой, язвительный, ростом

маленький. Она не любит таких – он похож на Йозефа и самую малость чем —

то похож на Марека. Во сне к ней приходит высокий и положительный, слепой,

глухой капитан далекого флота. И ей бы остаться с ним и прекрасно жить и жить...

тогда бы, быть может, она не была Шарлоттой.

Шарлотте Миллер не пишется и не грёзится, Шарлотте

Миллер снятся в ночи
кошмарики, в которых она опять целуется с Йозефом,
который вдруг оказывается
Мареком. Шарлотта застывает женою Лота, слипаются
снег и соль под ее
ресницами. Пожалуйста, просит она, пожалей Шарлотту,
а? Пускай ей лучше
совсем ничего не снится. Пускай она изменится, будет
бестией, она будет красить
губы и улыбаться. Такая зима, Шарлотта, такое бедствие.
Приходится быть
Шарлоттой – и всё, и баста.

А ехать долго – по пробкам, по грубой наледи, кассир в
маршрутке, снежная
карусель. Потом она соберется и выйдет на люди и будет
суетиться и жить, как
все. А нынче – сидит в маршрутке, ревет, сутулится,
рисует варежкой солнышко
на стекле. Глядит, как толстые дети бегут по улице и
толстые мамы что-то кричат
вослед. Весна нескоро, реки морозом скованы, в душе
бардак, невыигрыш по всем
счетам. И Йозеф с Мареком едут в свою Московию, и в
дождь превратился снег
на ее щеках.

Она сидит в маршрутке, от мира прячется, боится, что
вытащат, перекуют, сомнут.
Не трогайте Шарлотту, пока ей плачется. Не трогайте, как

минимум, пять минут.

Три поколения

Антону Т.

0.

И опять не сбылось – говорит себе старый доцент,
Наблюдая в окно наднебесную алую муть,
И опять не сбылось – шепчет он, не меняясь в лице,
И – представьте себе – ничего не мешает ему.

Он не вспомнит себя и соратников прошлых фавор,
Он закроет окно – не горяч, чуть нелеп, не сердит,
Закрывая окно, мрачно сплюнет в стихающий двор,
Или, может, не сплюнет – но кто его будет судить?

Закрывая окно, он увидит шумящий фонтан,
Обнажившихся барышень, моющих платья в воде,
И ничто не толкнет его в локоть – ты помнишь, вон там,
Было то, что ты думал восполнить, не видя нигде:

Этот вечный сквозняк, тот июньский белесый склероз,
Полумрак остановок – их мокрую сизую тишь.
Ну так что, говорит он, Господь, я немного подрос,
А теперь что ты скажешь? И где ты меня приютишь?

1.

У усатого школьника голос врезается в ребра
Этих ребер шпангоуты, ногтя железистый привкус,
И в армейском свидетельстве, помнит, написано
«добрый,
Любит робких животных, не любит опасностей, риска,

Любит тонких брюнеток». И правда же, любит брюнеток,
И вот ту, что здесь рядом, он любит. Он пробует водку.
Но ведь, черт побери, хоть с биноклем обыщешь планету,
Только дьявол назвал бы их робким и нежным животным.

Он грызет этот ноготь, грызет выпускную повязку,
Он уже поступил в медицинский, чтоб ближе узнать их,
Но закрыты мосты – те мосты с Петроградки до Васьки,
И стоят золотые любви в расхристанных платьях.

В эту ночь, видно, кто-то погиб. Потому что иначе
Слишком много любви в этот горький большой
перекресток.

Я еще небольшой – говорит он, – но кто-то назначит
Нам вернуться сюда. И едва ли нам будет так просто.

2.

Привет, мой милый, ты один? А я ждала тусы,
сходи в магаз, возьми в кредит дерьмовой колбасы,
Возьми дешевого вина, салфеток и еще
Того, кто убежал от нас, не попросивши счет,

Возьми его, не говори, что он дурак. Пстой,
Ты проводи хоть до двери того, кто ждет мостов,
Скажи ему, что нужен вам, ну, хорошо, и нам,
Скажи – его тут ждет диван, пусть будет дотемна.
Ах, не бывает дотемна, ну, пусть он будет тут.
Пусть он останется у нас, пока не позовут.
Нет, нет, поверь, он не любой, он брат или сестра.

Мне просто страшно быть с тобой до самого утра.

А ты клянешься мне все в том, что я гляжу во сне,
И я не Бекки, ты не Том, все это Новый Свет,
Ах, нынче не дают в кредит, не Англия, поди,
Ни колбасы (прижми к груди), ни счастья впереди.

Представь, что через двадцать лет, когда ты будешь сед,
Залезешь в свой истертый плед – не Англия, мой свет,
Все те же сны, подросший сын, усталая страна,
Но вот дерьмовой колбасы осталось дохрена.

Не говори, что он дурак – мы все ему должны,
Не говори, что всем пора, мы чересчур нежны,
Объявляя голоса лишив, движенья – мастерства.
Когда ты будешь чуть плешив – как опадет листва.

Давай пройдемся, здесь, смотри, красивые дома,
Вот здесь сверкание витрин, здесь – старая тюрьма,
Вот здесь – уют, а здесь прибой, а здесь... ну, не пора.
Мне очень страшно быть с тобой до самого утра.

0.

И опять не сбылось – веселится плешивый доцент,
Он в пижаме уже, с нежной челюстью в теплом бокале,
Он уже посмотрел в Одиссее, что будет в конце,
Но вцепляется в раму, как будто бы хочет руками

Прикоснуться к фонтану, почувствовать слабую дрожь,
Голубую сирену милиции, пьяную дуру,
И еще как-то утром войти в непросохшую рожь
И ловить там детей. И не думать, не думать, не думать.

0.1

И опять не сбылось. Остается красиво уйти,
Сквозь железистый ноготь, сквозь челюсть он плачет во
тьму:

А теперь что ты скажешь? И где ты меня приютишь?
И – представьте себе – ничего не мешает ему.

Но какое-то марево нянчит его изнутри,
Слишком мало рассветной зари, слишком много росы.
И истерзанный бог, провожая его до двери,
Говорит: очень страшно с тобой. Принеси колбасы.

Посвящение

*Сион со всех четырёх сторон окружён долинами:
на западе – долиной Гихон, на юге – Гинном,
на севере и востоке – Тиронеон. ©*

Поднималось солнце, безлучное и большое,
И не то чтобы не было лучшего за душою,
Ты и с худшим был бы рад, говорлив, смирен,
Но, зоря его, ты не слышал в тоске ответа,
На песке появлялись рисунки такого цвета,
Что на счастье не увидишь в календаре.
Поднималось солнце разлучное, но разлука
Не бывает без цвета, вкуса, хотя бы звука.
Пусть и горечь в ней, но и горечь имеет вес,
Не имеет его лишь плоскость, вершина, точка.
Только время уходит в песок, только камень точит,
Только время ни грамма не весит в той синеве.
Но ведь это и есть то счастье, в котором страшно,
Где нельзя случиться умным, хорошим, старшим,
Где ты есть единственный, то есть наутро вставший,
То есть тот, кто ответит раньше, чем тот, другой,
Золотой рассвет скользит невесомой ширмой,
Здесь исчезла вершина, поскольку ты стал вершиной,
Самый первый, самый нежный, самый нагой.
Как сказать им, тем, кто остался, кто остается,

Как испуганное сердце под горлом бьется,
Как ты стал другим, никем для других не став.
Как шуршит клинок, с утра возвратившись в ножны,
Как скользит изумрудная ящерица в подножье,
Как уходит в песок, как служит ему, как сложен
Самый маленький
Растрескавшийся
Пьедестал.

Про ангелов

Восьмого мая они просыпаются среди ночи.
Старший из них говорит: «Черемуха зацветает».
Средний из них говорит: «Чепуху ты мелешь».
Младший шепчет: «Мама моя святая,
Защити нас всех, пока ты еще умеешь,
Неприкаянных одиночек».

Она говорит: «Всё хорошо, сыночек».

Девятого старший под вечер приходит черный,
Говорит: «Там толпа, шли по головам, топтались по
душам».
Показывает ушибы и умирает.
Средний будто кожу с себя сдирает,
Воет волком, уткнувшись в его подушку.
Младший плачет: «Папенька, ты ученый,
Куда мы теперь без старшего?
Ведь нам и не снился ни опыт его, ни стаж его».

Отец отвечает ему: «Ничего страшного,
Если что – спрашивай».

Среднего ищут весь день и находят к вечеру,
Во временном котле

В ременной петле.

Над его кроватью солнечный теплый след еще.

Младший смотрит безвыходно и доверчиво,

Спрашивает: «Мама, я буду следующим?»

Одиннадцатого он просыпается, думает: «поглядим-ка»,
бережно сдувает с цветов пыльцу,

что у нас нынче слышно?

Завтра в прошлом году погибает Димка,

Прямо в подъезде, лезвием по лицу.

Завтра в прошлом году зацветает вишня.

А сегодня солнце взойдет, солнце зайдет

И ничего не произойдет.

Двенадцатого он просыпается ровно в семь.

Улыбается, ставит чай, начинает бриться.

Успевает увидеть, как черемуха серебрится.

Утро пахнет поджаристыми коржами,

Отец выходит из спальни в одной пижаме.

Мать говорит: «Не бойся, я тебе новеньких нарожаю».

Входишь в тапки, выходя из-под одеяла,

Что-то в этом есть от классических тех деяний,

О которых так много было говорено.

Если рано встаёшь, то в полдень бывает полдник.

То есть речь становится чистой, почти не подлой.

Я встаю в семь утра. И это, конечно, подвиг,

Пусть не подвиг-подвиг, но в общем-то всё равно.
Я встаю в семь утра. Это время начала света,
Бог сказал Адаму: «Придумай, чем будет это»,
И Адам, не проснувшись, сказал: «Это будет слон».
Он придумал слона разнеженными руками,
Так спросонья и нас родители нарекали,
Так случилась вода водой или камнем камень,

Потому что чувство бывает первее слов.
Потому что и слон есть слон, да и роза – роза,
Это не грамматика, это метаморфоза,—
Поджидая рассвет, придумать, как их зовут:
Малыша и слона, асфальт, магазин у дома,
Темный хвостик перезрелого помидора,
Эту девочку с оборками у подола,
Имена городов, котят, голубей, зануд.

Если солнце еще не взошло – то остались шансы,
Но уже розовеет небо, пора решаться,
Называть имена – и растаять в себе дневном
Но еще важнее сейчас, до конца недели,
Сделать так, чтобы рельсы звенели, а мы гудели,
Чтобы что-то стало красивее в самом деле,
И чтоб роза осталась розой, а не слоном.

«...»

Я встаю в семь утра – и это, конечно, поздно,
За окном февраль пахнет хлебом, бензином, розой,

Пахнет гель для душа – мята и лемонграсс,
Бесконечный будильник заходится нервным тиком
Расступается снег под огромным моим ботинком.
Это час до рассвета, большая земная стирка,
Постирался, отжался от пола двенадцать раз.

Вот двенадцать людей для меня – и часов не боле,
И двенадцать разных названий для слёз и боли,
И четырнадцать слов «люблю», и тринадцать «нет».
Просыпается слон, просыпаешься ты, пока что
Не имеющий имени, пахнет горелой кашей,
Просыпается на столе порошок от кашля,
Тает розовый снег на сыром до бровей окне.

Входишь в тапки, потом одеваешься и выходишь,
Думал, всё для тебя придумано, но ведь вот лишь
Тридцать метров пустой дороги, а дальше сам
Сочиняешь, страдаешь, придумываешь, стираешь,
Выжимаешь ненужное, нужных случайно ранишь,
Нужно было всё же вставать хоть немного раньше,
Над тобой расцветает рассветная полоса.

Но единственное, что с Адамом, со мной и с ними —
Это вдруг замереть у двери, придумать имя
Для слона и розы, для тех, кто нами крещен.

«...»

Вот Адам просыпается. Клен нарекает кленом,

А рябину – рябиной, а лист он зовёт зелёным,
Ну а девочку, конечно, зовут Алёной,
А котенка, конечно, Иосифом, как еще.

Всё об одном

Решка (примитивное)

Словами тяжко – получится не любимыми.
Мне страшно нужно, чтобы меня любили.
Не чтобы рыдали, мучались и страдали,
А чтобы где-то пели и где-то ждали.
Не чтобы, меня кляня, из окон бросались,
Не чтобы писали, а чтобы со мной спасались
От страшного сна, от горести и от боли,
От ссоры с собою, от чьей-то чужой любви.
Я слабых утешу, бальзам нацежу ранимым,
Мне страшно нужно, чтобы меня хранили,
Хвалили за дело, ругали бы за обновки,
Чтоб рядом со мной стояли на остановке,
Не чтобы бледнели, видя меня не с теми,
Не чтобы в постели, ведь я же не о постели,
Не чтобы меня пластали на покрывале,
А чтобы со мною яблоки воровали.
Храни меня, славный Бог, от любой печали
Мне страшно нужно, чтобы меня встречали
С работы, чтоб на ночь ласково целовали,
Чтоб рано утром дверь за мной закрывали.
Я вряд ли стану лучше, исправлю что-то,

Я вряд ли буду готовить, стирать и штопать,
Я буду бояться мышей, темноты и крови,
Но если нас поймают, то я прикрою.
Господь придумал летать воробью, оленю
Придумал бежать, огню – пожирать поленья,
Сосне – расти, вцепляясь корнями в землю,
Змее – ползти, хвостом раздвигая зелень.
Меня – хорошими снами служить твоими,
Хранить твое имя, красивое твое имя.
Я знаю это, не знаю только, зачем мне
Такое простое это предназначенье.
Я выйду из дома, руки в карманы суну,
Мороз рисует на лужах смешной рисунок.
Распахнуто утро створками голубыми
И мне так нужно, чтобы меня любили.

Орел (про метро)

Нет сил. Нет сил. Нет сил. Нет сил.
Я бы сдох сейчас, пожалуй, если б кто-то попросил.
Я бы рад, но ведь не просят,
Ветер ост, а время осень,
Юго-юг, востоко-запад, это древо Игдрасиль.

Нет слов. Нет слов. Нет слов. Нет слов.
Я вишу на тонкой леске, я дневной ее улов.

Сеньке – шапка, волку – рыбка,
Я – дурацкая открытка:
Текст, написанный вслепую, и замятый уголок.

Сто дел. Сто дел. Сто дел. Сто дел.
Я сижу на этом месте, будто вечно тут сидел.
Книжку в зубы, морду в книжку,
Нет меня и ты мне снишься,
Даже в вечном механизме есть понятие «предел».

Есть дом. В нем кот. Он не спит, он пол скребет,
Я плыву ему навстречу, мне навстречу мир гребет,
Кот голодный и когтистый.
Пищу – греть, кота – затискать,
Больше я не представляю на сегодня фронт работ.

Тик-так. Тик-так. Тик-так. Тик-так.
Я пытаюсь жить иначе, а выходит всё вот так.
Инь длиннее, ян короче,
То есть день короче ночи,
За рубашкой в шкафу полезешь – вот тебе и гутен таг.

Жди, верь, лезь сквозь. Не выходит – значит, брось,
Жили вместе, жили рядом, жили плохо, жили врозь,
Обломали, покосили
Ветки в нашем Игдрасиле,
А осенние остатки обовьет Уроборос.

Я сир. Мир синь. Колкий воздух, сладкий сидр,

Каждый день богат на встречи, о которых не просил.
Игдрасили, Игдрасили,
Выйду на Электросиле,
Может, там еще осталось для меня электросил.

Я был плохим. А теперь я мал и хил.
Запоздалый одуванчик, здравствуй, Осовиахим,
Ярко светят окна-ниши,
Нет меня и ты мне снишься.
Капли падают так редко, что домой пришел сухим.

Детское

Не признаться не могу, а признаться тяжко,
Я б себе зашила рот, если бы смогла.
Я украла у тебя маленькое счастье
Самый крохотный флакон синего стекла.

Это счастье у тебя пряталось на полке
Покрывалось чешуей пыли и обид,
Ты его когда-то взял, доверху наполнил,
Надписал и позабыл – шкаф и так набит.

Я наткнулась на него, встав на табуретку,
Шаря в темной тишине в поисках сладостей,
А оно блеснуло мне сказочно и редко,
Отразилось в потолке, брызнуло от стен,

И забилося под рукой, ласково запело —
Вот и не смогла уйти, не смогла не взять,
Там под самым колпачком голубая пена,
И такая синева – рассказать нельзя.

У тебя таких чудес – воз и два вагона,
Свежих счастлих всех цветов закрома полны,
У тебя в окне живет майский птичий гомон,
У тебя в комодке есть плеск морской волны,

У тебя растут цветы и смеются дети,
У тебя так хорошо спорятся дела,
У тебя, наверно, есть всё, что есть на свете —
Ну, подумаешь, флакон синего стекла.

Самый крохотный, поверь, самый заваливающий,
Может, там и вовсе чушь, талая вода.
Ты бы вовсе не полез в этот долгий ящик,
Ты б не вспомнил про него вовсе никогда.

Но сегодня ты с утра пел, готовил бигос,
Ты был весел, мир был мил, крепок был союз,
Но морщинка на щеке – та, что я влюбилась,
Превратилась в тонкий шрам, в тот, что я боюсь.

Ты поцеловал меня: приходи почаще,
Как всегда, на букве «о» губы округлив.
Я украла у тебя маленькое счастье,
И открыла за дверьми, вызывая лифт.

И такой открылся мир нежный и безумный,
И сирень, жасмин, весна, мед и пастила,
И такой прозрачный свет, что заныли зубы,
Этот крохотный секрет синего стекла.

Ты б не вспомнил про него, никогда не вспомнил,
Ты таких еще сто штук можешь сохранить.
Ты любой сосуд готов радостью наполнить,
Ты заставишь петь струной паутины нить,

Ты б не вспомнил про него средь других флаконов,
Золотится на заре фонарей слюда.

Смотрит грустно на меня профиль законный,
Верно, больше мне нельзя приходить сюда.

Все вокруг меня поет, будто птицы в чаше
Все внутри меня грустит не пойми о чем.
Я сжимаю в кулаке краденое счастье,
Слезы капают в него тоненьким ручьем.

Зарисовка

Вот выпал снег. Но говорят о нем
Вполголоса, как говорят о мертвых.
Вот двор, белесой полосой обметан,
Вот рядом дом с завешенным окном.

Когда-нибудь ты приходил сюда,
Стоял, боялся, как всегда, нарушить,
Переступить, хоть чем-то обнаружить
И оправдать присутствие себя

В той тишине, которую растят
Тростник и камень, хлеб и позолота,
Чуть хриплый вдох замерзшего болота,
Взгляд искоса на строчку в новостях,

Потом поверх. Потом начать с утра,
Перечитать и вспомнить, забываясь,
Сухой березы мокрая кривая,
Перечеркнула выход из двора.

Соседская машина у ларька
Мигает позабытой аварийкой,
Так, говорили, нет, не говорили,
Горит во сне разбитая щека,

Во сне, как на дороге, как в пути,
В котором нет краев и горизонта,
Выходишь в эту боль, и даже зол, что
Опять не дали никуда уйти.

Щека болит и пятый класс, зимой,
И расшатался зуб – и не молочный,
Порой бывает тяжелей, но ловче,
А тут – легко и страшно, боже мой.

Вот выпал снег и он не говорит.
Стоите ты и он – посередине
Того двора, на непослушной льдине,
Не зная шага. Понимая ритм.

Ты, как всегда, не вовремя устал.
Под снегом позолота старых листьев,
Всё то, чего боятся журналисты, —
Простор простого белого листа.

Горит щека и фонари горят,
Он говорит с тобой, поскольку не с кем.
Вот выпал снег тяжелой занавеской.
Вот выпал снег.
О нем не говорят.

Read more

Мы ходили по пляжу,
Немножко молчали
И немножко кричали,
Чтоб слышало эхо.
Мы на мокром песке
Все следы отмечали,
В каждом следе
Доехал! Доехал! Доехал!

Мы ходили по пляжу
И видели чаек:
Принесите-мне-чаек
И необычаек.
И инструкторы нам
Безнадёжно ворчали
Но мы видели чаек,
Морчаек, молчаек.

У меня был купальник
Отличной расцветки,
Чтобы стать, будто этот закат
Или ветка,
Быть в прибойном песке
Или крышечной стали,

Чтоб меня не поймали
И не посчитали,

А потом мы считали
Наборы ступенек,
И родители стали
Цвета ветра и денег,
Тёмно-карих монет,
Светло-серых соседей
В каждом вздохе:
Уедем! Уедем! Уедем!

Чтобы снова летать
Бесконечной подёнкой
И купальник они
Выбирали с издёвкой.
Но пока я следы
На песке отмечаю,
Я почти среди тех
Ковыляющих чаек.

Самолёт не взлетит —
Я не зря себя мучаю,
Набрала себе ракушек целую кучу.
Я брала их специально
С песком и стекляшкой,
Чтоб взлетать было тяжче,
Внутри было слаще.

Вот пилот подойдёт,
Седовласый и строгий —
Я уверен, что вам будет сложно в дороге.
Вас не пустит граница,
Вам нужно спуститься.
Подберите нас,
Лёгкие чайчьи птицы,
Я хочу здесь остаться,
Расти и растишься,
Я хочу прямо здесь навсегда очутиться.

Там метро наполняет
Желудочки станций,
Там любой, кто стал старше,
Становится старцем,
Я уже проучилась,
Пять лет – будто валиком,
И меня проучить
Здесь способен едва ли кто.

И родители – будто им что-то не дали тут —
Выгребают песок из промокших сандаликов.

И идут по тропической маленькой улице.
И ещё – не смотрю я! – немножко целуются.

Пристань

Не отчаялись здесь, где под утро всегда встречались,
Не проходим там, где вчера навсегда расстались,
Помоги мне, светлое сердце моей печали,
Не трави мне душу тем, чем тогда не стали.

Слушай музыку подворотен и колоколен,
Разбирай слова, не сказанные иконой,
Заходи в тот вечер, который всегда спокоен,
Вне созвездий полумрака и вне законов,

Приходи, как всегда, на заснеженный пирс, на пристань,
Мимо всех чужих, что в отчаянье в стекла дышат.
Что-то снова звучит неистовым тонким свистом,
От босых ушей – до затянутых в шерсть лодыжек,

Я опять живу, я не знаю, как быть иначе,
Как меняться – змеей в полнолуние сбросив кожу,
Я опять появляюсь там же, а это значит,
Что, когда мы не вместе, мы больше всего похожи

На разрозненные безумные шестерни, на кассеты, что мы
Переслушивали, от радости замирая,
Я стою на пристани, море готово к шторму,
К небывалой весне, к тоске на посту тирана,

Нас меняли на тех, кто хуже, и тех, кто краше,
Кто умеет закрыть глаза, чтобы быть всемогущим,
Кто умеет не зарыдать, обращаясь к нашей
Невозможности не вспомнить, что нас просили

Отвечать на письма, прикидываться готовым,
Раздраженным, безвыходным, злым, но всегда ранимым.
Приходи на пристань, ищи неизбежность тона,
Обращайся к каждому, кто не проходит мимо,

Этот голос – сухими губами, в изгибах трещин,
Что он просит тебя – прикурить, или ждать почасе,
Этот голос, звучащий тем тяжелей и резче,
Чем бессмысленней слово исповеди, звучащей

На пустом берегу, на шипенье морского днища,
На горячем песке, хароньем несовершенстве.
Посмотри на меня, вот я, вот бездарный, нищий,
Собирающий ракушки, глядящий против шерсти.

Значит, каждый из нас, умеющий множить сущность,
Разбираться в материях тоньше, чем старый призрак
Всё же воет в этот белый, матерый, сучий
Несомненный лунный сумрак, в безумный призыв,

Слушай музыку, слабая, нежная, слушай голос,
Слушай звук, который исходит из душ, из недр,
Слушай голос, который нас собирает, голых,
Теплых, плачущих всё о том, что никто нам не дал

Ни готовых схем, ни возможности быть покрепче,
Ни способности совершать и не быть свершимым,
Слушай то, что царапает из совершенья речи,
Из подснежного захлебыванья под шиной,

Мы когда-то умрем, дай нам Бог умереть без боли,
Без улыбки на устах, без тоски на лицах.
Мы когда-то умрем, дай нам Бог умереть без Бога,
Не равняя счет, отмеченный на таблицах.

Не отчаялись там, где под утро всегда встречались,
В удивительно голом молчании декораций,
Заполняющими отсутствие чувств речами:
Где ты был, любимый, и как до тебя добраться,

Слушай море, ведь пока мы не верим в море,
Море лижет ступни, под ногами лежит бугристо,
Хорошо бы закончить типа «memento mori»,
Но, пока я не так мудра,
Приходи на пристань.

Брызги

Сладкие дни крошатся в руке, как коржик, сонное море дремлет в объятьях тени,
берег роскошен, зелен и непокошен, пыльное лето в городе тощих кошек плещется
в складках юбок и полотенец. Мертвая зыбь, но что может быть живее? Солнце людей сгоняет с себя щипками. В этот букет (я знаю, что позже – веник)
я собираю мяту и можжевельник, в колкие лапы втискиваюсь щеками. Милый,
я позабыла, что я с тобою, бывший, я позабыла, кто с кем скандалил.
Ноги, исцарапанные в прибое, четко отображают узор сандалий.

Тощие кошки, кошек никто не кормит, кошки крикливы, наглы и голоштанны.
Я растворяюсь, нет, я пускаю корни, утро приходит, если на подоконник падают
виноградины и каштаны. Я не войду наверх, я пристроюсь возле, где бирюзовый мед обнимает скалы. Губы хватают пряный горячий воздух.
Осень, моя возлюбленная,
стервозна, больше, чем на неделю, не отпускает.

Господи, кто там лечит и кто там хнычет, чье там
движение крыл ли, шуршанье лап
ли, кто там дыханье ночи в карманах нычит?
В море луна замочила подол и нынче хмуρο роняет с него
золотые капли.

Плечи алеют смугло и нос лупится, кожу забраковал бы
любой сапожник.

Время смеется, осень рыдает в Битце. Мы в свои двадцать
выучились любиться,

только бояться будем учиться позже. Эти песчинки
оспинками на пальцах, ветер

с открытки – сухо, протяжно, хрипко. Краб из-под камня
греет блестящий панцирь.

Я не люблю английский и просыпаться, и обожаю яблоки,
дождь и скрипку.

Дождь задремал в коляске, смешной и близкий, яблоком
круглым мокро ладонь

наполнить.

Я ухожу стремительно по-английски, чтобы,
проснувшись, что-нибудь всё же

вспомнить.

Боже, я не надеюсь – что толку в бреде

Этой редиски, дурочки, пародистки,

В этом ее безвыходном *danse macabre*.

Но если когда-нибудь всё же меня апгрейдишь,

То сохрани эти папки на жестком диске.

Там для тебя оставлена пара кадров.

Школьный курс

В.К.

Вот этот город. Остов его прогнил. Каменный остров оставшихся навсегда.

Вот фонарей горячая слюда.

Вот я иду одна и гашу огни.

Вот этот город, нужный только одним.

Вот и вода, идущая по следам.

Вот этот город. Картиночный до соплей. До постоянных соплей – полгода зима.

Сказочный, барочный его филей.

Набитые до оскомин его дома.

Вот этот город, петровский лакоон. Не по канонам канувший в никуда.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.